



Пабло Рзег



Семь имен

Пабло Рзег

Семь имен

«Автор»

2026

Рзег П.

Семь имен / П. Рзег — «Автор», 2026

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возрастная категория 16+ Книга

содержит описание сцен, не предназначенных для

детей. _____ Марк

помнит лишь своё имя. Всё остальное приходит обрывками: разные эпохи, разные лица и знания о вещах, которых не должно существовать. Снова и снова он проживает разные жизни, и рядом с ним всегда появляется женщина. Каждый раз Марк уверен, что любит. Но любовь умеет принимать опасные обличья, а человеческие пороки искажают голос любви. Что связывает эти жизни? Почему память ведёт его туда, где он никогда не был? И какое из семи имён на самом деле принадлежит ему? «Семь имён» — роман из 7 новелл, которые связаны тонкими сюжетными переплетениями. В романе автор размышляет о человеческой, религиозной морали, и любви, которая выше всех пороков.

© Рзег П., 2026

© Автор, 2026

Пабло Рзег

Семь имен

Семь имён

Автор – pablo_rzeg

Москва, июль 2026 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Свет

Я остановился у края мостовой, ожидая какого-то знака. Мне казалось, что над улицей должен загореться цветной свет, после которого можно будет перейти. Но прохладный утренний Лондон не собирался давать мне разрешение на переход мостовой. Лондон грохотал, ругался, звенел колокольчиками омнибусов и катил по Холборну такой поток колёс, копыт, тележек и человеческих плеч, будто все жители города решили опоздать одновременно. Недавний дождь ещё блестел между камнями; колёса разбрасывали коричневую воду, торговка водяным крессом кричала у стены, а над крышами висел угольный дым, делавший солнце похожим на медную монету.

Я сделал шаг на мостовую. Сначала увидел лицо кучера — выражение человека, который узнал будущее на секунду раньше остальных. Потом лошади взвились, сверкнули мокрые удила, улица повернулась набок, и что-то тяжёлое ударило меня в грудь.

Боли не было, а был только звук. Он был не громким, как можно было ожидать, а сухим и деловитым: треск дерева, стук железного обода о камень, и короткий крик женщины. Я успел заметить пуговицу, оторвавшуюся от моего сюртука. Она подпрыгнула в грязи и исчезла под колесом. Почему-то это показалось мне несправедливее всего остального.

Земля пахла лошадиным потом, мокрой шерстью и углём. Перед глазами лежал серый камень мостовой, исчерченный тонкими ручейками. По одному из них плыл обрывок афиши с огромным словом «GREAT»; остальная часть была втоптана в грязь. Я подумал, что слово выбрано неудачно.

Кто-то схватил меня за плечо.

— Не трогайте его! — приказал женский голос. — Если у него сломана спина, вы только добьёте его своей заботой.

Рука исчезла, и надо мной возникло лицо в белом чепце. Оно заслонило медное солнце, и на несколько мгновений мне стало легче. Девушка была молода — моложе, чем можно было предположить по её голосу, — но под глазами у неё лежали тени человека, который слишком часто встречает утро на работе. Из-под чепца выбилась тёмная прядь. На щеке виднелось маленькое пятно уличной грязи.

— Вы меня слышите?

Я хотел сказать, что слышу её, кучера, лошадей, торговку, мальчика, предлагавшего публике за пенни посмотреть на мою кровь, и ещё какой-то пронзительный звон, которого, кажется, не слышал больше никто. Но изо рта вышло только дыхание.

Девушка наклонилась ниже.

— Как вас зовут?

Ответ нашёлся сразу.

— Марк.

— Марк, а как дальше?

Как я ни старался, я никак не мог вспомнить, как дальше. За именем не находилось ни фамилии, ни дома, ни лица, которое могло бы узнать меня в толпе.

— Не знаю, просто Марк, — ответил я.

Улица медленно качнулась надо мной, словно Лондон сорвался с привычного места и поплыл куда-то вместе с домами, экипажами и небом. Девушка в белом чепце наклонилась ко мне так близко, что светлая прядь её волос коснулась моей щеки.

— Хорошо, просто Марк. Меня зовут Мэри Рид. Я служу в больнице Святого Варфоломея. Вы меня слышите, Марк?

Я слышал её голос. Сначала я слышал его отдельно от всех остальных: отдельно от торопливого голоса кучера; отдельно от сухого голоса мужчины, требовавшего позвать констебля; отдельно от голоса человека, который сказал, что нужно хотя бы 2 трезвых мужчин, чтобы донести меня; отдельно от неуместно веселого голоса прохожего, который ответил, что с поиском трезвых мужчин на этой улице могут возникнуть проблемы.

Потом разница между голосами исчезла. Слова накладывались друг на друга, ускорялись, слова потеряли смысл, и всё, что я слышал, слилось в один голос. Это был не хор, а единый голос, которому почему-то понадобились десятки чужих ртов. Он звучал сразу над самым моим ухом и в дальнем конце улицы, говорил высоким женским голосом и низким мужским, кричал и шептал одновременно. Я не понимал ни слова, но мне казалось, что он зовёт меня по имени.

Всё, что я видел, тоже начало сливаться воедино. Лицо Мэри, цилиндр над нею, взмыленные морды лошадей; медное солнце; чёрные фасады и мокрые камни мостовой; город, у которого не было ни начала, ни конца, но при этом город был не больше точки в письме от любимой женщины. Краски поблекли; тени сделались прозрачными. Все знакомые и незнакомые мне цвета слились в один белый, он исходил отовсюду и проступал из каждого предмета, заполняя промежутки между домами, людьми и мной.

Я начал слышать каждый удар моего сердца, и каждый удар отражался вспышкой этого и так бесконечно яркого света, проникающего сквозь кожу до самого последнего органа моего тела. Я начал считать эти удары. На седьмой вспышке свет стал настолько нестерпимо ярким, что я открыл глаза.

• • •

Первое, что я увидел, был свет тусклого фонаря. Но светил он так ярко, что сначала я принял его за солнце. Копоть, сырость и годы превратили штукатурку потолка в карту облаков на ослепительно чёрном небе. Из длинных окон под потолком падал холодный свет, в котором медленно двигалась пыль, и спокойствие её движения казалось оскорбительным, потому что было слишком рядом с человеческой болью.

Я лежал на одной из железных кроватей, которые стояли вдоль двух стен с военной прямолинейностью. Кроватей было не меньше двадцати, а между ними оставались узкие проходы, по которым сновали сиделки с тазами, свёрнутым бельём и кувшинами. У дальней стены горел камин, но тепла от него хватало лишь медным чайникам, которые стояли рядом с ним на решётке. Воздух пах мокрой шерстью, щёлочным мылом, уксусом, старой соломой и ещё чем-то сладковатым, чего я никак не мог припомнить.

За окном звонили колокола Смитфилда. Между ударами доносилось мычание скота, гонимого на рынок, крики погонщиков и тяжёлый шум города. Больница не отделяла страдание от обычной жизни, а только помещала его за высокие окна.

Моя правая нога была закреплена между деревянными планками и скрыта под грубой тканью. Каждый удар сердца отзывался в ней тупым толчком. Грудь перехватывало при вдохе; левую сторону головы стягивала повязка. Я попробовал приподняться, но мир немедленно качнулся.

— Если вы желаете снова оказаться на мостовой, то вам по коридору налево, и дальше третья дверь, — сказал женский голос.

Мэри стояла у изножья кровати. Уличное пальто исчезло; теперь на ней было тёмное платье с узкими рукавами, белый передник и тот же чепец, только чистый. Руки у неё были красные от холодной воды и частого мытья. В одной она держала глиняную кружку.

— Где я?

— В больнице Святого Варфоломея. Мужчины называют её палатой Иова, потому что здесь каждый считает себя самым несчастным человеком в Библии.

— А как называют её женщины?

— Женщины называют её «Моя работа».

Она поднесла кружку к моим губам. Вода имела вкус олова, но я пил её жадно. Мэри поддерживала мой затылок ладонью. Этот простой жест был и приятен, и почти невыносим: тело, которое ещё недавно безраздельно принадлежало только мне, теперь нуждалось в разрешении другого человека, чтобы просто выпить воды.

— Сколько я был без сознания?

— Несколько часов. Сейчас близится полдень.

Я посмотрел на окна. Свет за ними был серым и безразличным.

— Какой сегодня день?

— Четверг, восьмое мая.

— Год?

Мэри поставила кружку и внимательно посмотрела на меня.

— Такой же, как вчера. Тысяча восемьсот пятьдесят первый.

Я принял дату как должное, хотя глубоко во мне шевельнулись мысли о другой дате, а также о другом городе, где дома были выше колоколен, улицы светились ночью без газа, а голоса приходили из маленьких чёрных предметов. Мысль исчезла, едва я попытался рассмотреть её внимательнее.

— Значит, четверг, — сказал я. — Всё в соответствии с планом, как раз по четвергам со мной всегда случаются неприятности.

Мэри отвернулась, но я заметил, что она снова улыбнулась.

У соседней кровати пожилой мужчина с серой бородой просил табаку. Ему отвечали, что после операции табак его убьёт. Старик уверял, что это единственная причина, по которой стоит курить. Через проход лежал юноша с забинтованными руками; он смотрел в потолок и беззвучно двигал губами, словно продолжал спор, начатый до несчастья. В дальнем конце палаты кто-то стонал ровно и терпеливо, почти в такт уличному шуму.

Я потянулся к стене у кровати. Мне казалось, что там должна находиться маленькая кнопка, достаточно нажать её — и над дверью вспыхнет свет, сообщая, что мне нужна помощь. Пальцы нащупали только холодную штукатурку и шнур колокольчика.

— Что вы ищете? — спросила Мэри.

— Кнопку.

Она посмотрела на меня внимательнее.

— Видимо, удар по голове был серьёзнее, чем кажется.

В палату вошёл высокий человек в чёрном сюртуке. За ним следовали двое молодых мужчин, один нёс кожаный футляр, другой — тетрадь. Высокий человек шёл не торопясь, и больные умолкали ещё до того, как он подходил к их кроватям. Его седые бакенбарды были выстрижены аккуратнее всей палаты.

— Добро пожаловать в больницу, мистер «просто Марк», — неуместно веселым тоном сказал мужчина, — Я заведующий хирургией, меня зовут Доктор Уиткомб.

Он осмотрел мою голову, ощупал рёбра и попросил пошевелить пальцами ноги. Его руки были чистыми, с короткими ногтями, но совершенно голыми. Я испытал внезапное, почти животное беспокойство. Мне казалось, что он должен надеть что-то тонкое, плотно облегающее пальцы, а затем выбросить это сразу после осмотра.

— Что такое? — спросил хирург, заметив мой взгляд.

— Вы вымыли руки?

Молодой человек с тетрадью кашлянул, скрывая смех. Доктор Уиткомб посмотрел на свои ладони.

— До вас я осматривал мистера Пимма, а мистер Пимм, смею заметить, не заразен.

— Я спрашивал не о мистере Пимме.

— Для человека, который не может вспомнить свою собственную фамилию, вы слишком настойчивы.

Он произнёс это без злости, но слова про мою фамилию прошли по моим мыслям, как тяжёлые сапоги по мостовой Лондона.

Осмотр продолжался. Когда мистер Уиткомб коснулся правой ноги, из моего рта вырвался звук, не похожий на человеческую речь. Мэри положила руку мне на плечо. Я схватился за неё и сжал сильнее, чем следовало. Она не отдернула пальцев.

— Кость сломана, — сказал хирург. — Рана загрязнена. Её придётся очистить и правильно сложить отломки. Но меня больше беспокоит грудь. Если ночь пройдёт спокойно, утром мы займёмся ногой.

— А если ночь не пройдёт спокойно?

Доктор Уиткомб закрыл кожаный футляр.

— Тогда нога перестанет быть вашей главной заботой.

Он ушёл к следующей кровати. Молодые люди последовали за ним, записывая мою боль так старательно, словно она могла пригодиться им на экзамене.

Мэри освободила руку. На её пальцах остались красные следы от моих ногтей.

— Простите.

— Если выживете, я потребую извинения получше.

— А если нет?

— Тогда мне придётся довольствоваться этим.

Она поправила одеяло и собралась уйти.

— Мэри.

Она остановилась.

— Вы были там, на улице. Почему?

— Потому что шла на работу.

— Нет. Почему вы остались?

— Потому что вы были под экипажем.

— Но большинство остальных людей только смотрели.

— Большинство людей не умеют ничего другого.

Она сказала это просто, без гордости. Затем отошла помочь старику, требовавшему табака, а я впервые почувствовал ревность к умирающему человеку.

• • •

После полудня пришёл констебль. Его мундир пах дождём, кожей и улицей. Он снял шлем, но не выражение служебного недоверия.

— Имя?

— Марк.

— Фамилия?

— Имя Марк — это всё, что у меня есть.

— Адрес?

Я закрыл глаза. Лондон распался на названия: Чипсайд, Стрэнд, Блумсбери, Бейкер-стрит. Я знал, где они находятся. Мог представить изгиб Темзы, мосты, церкви и вокзалы. Более того, я помнил какие-то другие вокзалы, спрятанные под землёй, хотя сама мысль казалась бессмысленной. Но ни одна улица в моей памяти не вела домой.

— Не знаю.

— Род занятий?

Передо мной возник стол, покрытый бумагами; потом гладкая поверхность, на которой светились строки; потом окно на огромной высоте, за ним — стеклянные здания. Ни один образ не задержался.

— Возможно, я служащий.

— Какой именно?

— Не знаю, но, вероятно, не очень хороший служащий.

Констебль посмотрел на Мэри, словно она несла личную ответственность за мою память.

— При нём ничего не нашли?

— Несколько монет, ключ и платок, — ответила она. — На платке нет метки.

— А от чего ключ?

— Если обнаружите в Лондоне дверь, которую он отпирает, сообщите нам.

Я смотрел, как перо констебля выводило какие-то слова на бумаге. Чернила блеснули несколько секунд, потом высохли, он отдал листок Мэри.

— Когда память вернётся, передайте информацию в участок, — коротко бросил он мне на прощание.

— А если не вернётся?

— Тогда Англии придётся придумать вам фамилию и род занятий.

Это звучало почти как угроза.

После его ухода я попросил Мэри показать запись. Она повернула тетрадь ко мне.

— «Марк, фамилия неизвестна. Адрес неизвестен. Род занятий не установлен. Вероятно, есть преступные наклонности», — прочитал я. — Да, это не самая впечатляющая биография.

— Зато у вас есть преимущество перед остальными: вы можете начать с чистого листа.

Я рассмеялся и тут же пожалел об этом; грудь пронзило болью. Мэри помогла мне устроиться на подушке. За окнами туман смешивался с дымом. Свет угасал рано, хотя до вечера оставалось ещё несколько часов. Газовые рожки в палате зажгли один за другим; они вспыхивали с мягким хлопком, и вокруг каждого дрожал желтоватый ореол. От этого стены стали темнее, а лица больных — старше.

• • •

Принесли ужин: жидкий бульон, хлеб и чай, в котором угадывалась только горячая вода. Мэри кормила меня с ложки. Я пытался делать вид, что это унижает меня меньше, чем на самом деле.

— Вы всех кормите лично?

— Только тех, кто задаёт слишком много вопросов.

На её запястье темнел синяк. Наверное, я оставил его, когда хирург осматривал ногу.

— Мне действительно жаль.

— Вы уже извинялись.

— Вы сказали, что потребуете извинения получше.

— Я сказала: если выживете.

— Значит, пока вы не хотите тратить хорошее извинение впустую.

Мэри опустила ложку в миску.

— Вы всегда шутите, когда боитесь?

Я хотел ответить шуткой, но не нашёл её.

— Не знаю, — сказал я. — Не помню, как именно я обычно боюсь.

Она поставила миску на табурет. Впервые её взгляд утратил деловую твёрдость.

— Доктор Уиткомб хороший хирург, и вы вспомните все свои страхи.

Я усмехнулся краешком рта и посмотрел вдоль палаты. Старик наконец получил табак и теперь спал, прижав незажжённую трубку к груди. Юноша с забинтованными руками отвер-

нулся к стене. Сиделка у камина складывала простыни; они вспыхивали белым в свете газа и тут же темнели снова.

— Странно, — сказал я. — Я не могу вспомнить ни одного человека, который должен обо мне тревожиться. Но чувствую, что такой человек есть.

— Может быть, память вернётся ночью.

— А если я умру раньше?

— Не говорите так.

— Почему? Здесь все думают об этом. И у остальных хотя бы есть имена, которые можно написать на камне.

Мэри нахмурилась и не нашла, что ответить. Из коридора донёсся звон металлического таза. Где-то хлопнула дверь, и вместе с холодным воздухом в палату проник запах дождя.

— Важно не имя, а тот, кто остаётся рядом и не смотрит на имена, — сказала Мэри.

Она поднялась.

— Моя смена заканчивается через час.

— А кто будет здесь ночью? — с почти детской паникой спросил я.

— Миссис Браун, она поможет, если вдруг начнется кровотечение.

Я уже знал, кто такая миссис Браун: крупная женщина с лицом, способным остановить одним лишь взглядом и кровотечение, и небольшую революцию, и движение Солнца в небе.

— Мне кажется, она меня не любит.

— Миссис Браун никого не любит после девяти вечера.

— А вы? Вы кого-нибудь любите после девяти вечера?

Мэри посмотрела на меня так, будто решала, достаточно ли сильно я ударился головой, чтобы простить вопрос.

— Спите, просто Марк.

• • •

Днём страдание в больнице было занято: его мыли, перевязывали, записывали в тетради, переносили с кровати на кровать. Ночью страдание оставалось без дела и становилось огромным.

Газовые рожки убавили. Палата погрузилась в коричневый полумрак. Железные спинки кроватей отбрасывали на стены длинные тени, похожие на решётки. Камин погас; с пола тянуло холодом. За окнами дождь шуршал по стеклу, а город всё ещё двигался — глухо, тяжело, словно большое животное во сне.

Мне казалось, что грудь стягивает ремнями. Вдох приходилось отвоёвывать. Я пытался представить своё прошлое, но всякий раз видел только отдельные комнаты, не соединённые коридорами. В одной комнате женщина стояла спиной к окну. В другой на столе лежал маленький светящийся прямоугольник, в котором отражалось лицо ребенка. В третьей я смотрел на себя в зеркало и был старше, чем сейчас. Женщина во всех комнатах была одна и та же, но я не мог увидеть её лица.

Я потянул за шнур колокольчика. Пришла миссис Браун. Она проверила повязку, велела терпеть и исчезла. Через несколько минут я позвонил снова. На этот раз никто не пришёл.

Я лежал, слушая собственное дыхание, пока оно не стало казаться дыханием другого человека. В какой-то момент я понял: если перестану дышать, никто в мире не узнает, что исчез именно я. Умрёт мужчина без фамилии, адреса и прошлого. Утром его кровать застелют чистой простынёй, а в тетради останется одна строка, которая ничего не объясняет.

— Мэри! — позвал я без всякой надежды, хотя знал, что она уже ушла.

Через несколько минут она вновь появилась в проходе с лампой. На ней было тёмное пальто, но чепец оставался на голове. Капли дождя блестели на плечах.

— Я забыла перчатки.

— Они же у вас в кармане.

Мэри посмотрела на карман, из которого действительно выглядывала перчатка.

— Значит, я забыла что-то другое.

Она поставила лампу на табурет и села рядом. От неё пахло улицей, дождём и слабой лавандой.

— Вам стало хуже ночью?

— Нет. Мне стало страшнее.

— В темноте это одно и то же

Мэри сняла мокрые перчатки. Несколько мгновений она грела руки над лампой.

— Мой брат однажды лежал в этой палате, — сказала она. — Мне было семнадцать. Я приходила каждый день, но в последнюю ночь меня отправили домой. Сказали, что я мешаю. Утром его уже не было.

— Поэтому вы здесь работаете?

— Нет. Поэтому я не ухожу, когда меня просят уйти.

Я смотрел на её лицо, освещённое снизу. Оно не было прекрасным в том безупречном смысле, который так любят мамы у своих дочерей. Нос чуть отклонялся влево, кожа обветрилась, на лбу залегла ранняя складка. Но именно несовершенства делали её лицо настоящим. Мне хотелось запомнить его на случай, если собственное мне больше не понадобится.

— Мне кажется, я вас знаю, — сказал я.

— Это последствие удара.

— А если я скажу, что всю жизнь искал женщину по имени Мэри?

— Я скажу, что вы выбрали самое распространённое имя в Англии и значительно увеличили свои шансы.

Я улыбнулся. Боль не исчезла, но отступила ровно настолько, чтобы между нами поместился этот разговор.

— Вы верите в Бога? — спросил я.

Мэри поправила фитиль лампы.

— Я верю, что Ему следовало сделать человеческие кости прочнее.

— А душу?

— Душа, судя по моему опыту, ломается чаще. Но люди жалуются на кости.

Я повернул голову к окну. За стеклом не было видно ничего, кроме дрожащего отражения лампы.

— Если я не вспомню, кто я, останусь ли я тем же человеком?

— Вы задаёте вопросы, на которые священники отвечают слишком долго, а врачи — слишком быстро.

— Оставайтесь до утра.

Она посмотрела на меня. В просьбе не было достоинства, да я и не пытался его сохранить.

— Хорошо, — сказала Мэри. — Но, если вы уснёте, я уйду.

— Тогда я не усну.

— Все мужчины обещают одно и то же.

Она взяла мою руку. Не как возлюбленная и не как сестра — просто чтобы я чувствовал рядом другое живое тело. Её пальцы были холодными. Через некоторое время они согрелись, или остыла моя рука; я не мог определить.

Так мы сидели, пока больница дышала вокруг нас. Иногда Мэри вставала, чтобы помочь миссис Браун. Она возвращалась, и каждый раз я испытывал облегчение, непропорциональное длине её отсутствия. Мы говорили о пустяках: о плохом чае, о торговцах на Смитфилде, о голубях на крыше больницы, которые были толще некоторых пациентов. Она рассказала, что живёт в Клеркенуэлле с тёткой, считающей больницы неподходящим местом для женщины. Я сказал, что тётка, вероятно, никогда не попадала под экипаж.

— Почему вы уверены? — спросила Мэри.

— Такая женщина заставила бы экипаж извиниться.

Мэри рассмеялась — впервые не уголком рта, а по-настоящему. Смех изменил её лицо, и у меня возникло резкое ощущение утраты. Будто я уже слышал этот смех много лет назад и с тех пор успел его лишиться.

— Что с вами?

— Мне показалось, что я вспомнил.

— Что именно?

— Как кто-то смеялся так же.

— Мужчина или женщина?

— Я не помню.

— Как звали его или её?

Я вслушался в пустоту памяти. Там было имя, начинавшееся с бесконечно мягкого слога Ма...

Ма... Ма... Ма... Ма... Я не мог вспомнить ни звучание имени, ни движение губ, когда я произносил его в прошлом, ни его написание, когда я писал его в будущем.

— Не знаю.

Мэри коснулась тыльной стороной пальцев моего виска и нежно, как будто случайно, коснулась краешков моих бровей, задержав пальцы на висках чуть дольше, чем это требовалось для проверки жара.

— Я здесь, Марк, — сказала она, и я закрыл глаза.

• • •

Утро пришло не светом, а шумом. В коридорах загрохотали вёдра, заскрипели колёса тележки, открылись двери. Над Смитфилдом закричали погонщики. Газ погасили, и палата медленно наполнилась голубоватым рассветом.

Мэри явилась раньше мистера Уиткомба. В одной руке она держала два деревянных костыля, в другой — мой сюртук, очищенный от уличной грязи настолько, насколько это вообще было возможно.

— Одевайтесь, — сказала она. — Мы идём гулять.

Я посмотрел на лубки, между которыми покоилась моя правая нога.

— Вы уверены, что понимаете значение слова «гулять»?

— Вполне. Это когда человек некоторое время находится не там, где его успели невзлюбить.

— А мистер Уиткомб разрешил?

— Он запретил вам наступать на правую ногу. На неё мы наступать не будем.

Она сказала это так, словно между послушанием и непослушанием существовала тонкая дорожка и Мэри давно научилась ходить точно по ней.

Подняться оказалось труднее, чем я предполагал. Когда больная нога оторвалась от постели, в ней будто проснулся тяжёлый колокол. Мэри подставила плечо; я обнял её за шею, стараясь убедить себя, что делаю это исключительно ради равновесия. Её ладонь легла мне на спину и задержалась там на одно мгновение дольше, чем требовала осторожность.

— Если упадёте, — сказала она, — я оставлю вас лежать и позову тех двоих трезвых мужчин, которые несли вас сюда.

— Думаю, вы так и не нашли трезвых.

— Вы правы, поэтому постарайтесь не падать.

Мы вышли из палаты. Я переставлял костыли, переносил вперёд левую ногу и подтягивал за собой правую, не позволяя ей коснуться пола. Мэри шла рядом, не поддерживая меня, но всё время держа руку возле моего локтя. Это было почти оскорбительно: я хотел либо полной помощи, либо полной свободы, а она оставляла мне достоинство ровно до той секунды, когда оно могло стать опасным.

Больница раскрывалась передо мной не одним зданием, а целым небольшим городом. Новые кирпичные корпуса прислонялись к старым каменным стенам; лестницы неожиданно уходили вниз, переходы огибали внутренние дворы, а за дверями, похожими одна на другую, помещались палаты, кухни, кладовые, комнаты сестёр и тесные жилища служителей. Повсюду двигались люди: больные в серых халатах, женщины с корзинами белья, ученики хирургов, священники, носильщики и посетители, не решавшиеся говорить громко.

В самом сердце этого беспорядка стояла церковь. Вернее, больница и церковь так давно вросли друг в друга, что уже нельзя было понять, какое здание приютило другое. Одна стена галереи пахла известью и лекарствами; противоположная была сложена из потемневшего камня, хранившего холод многих столетий. Над дверью часовни висел деревянный крест. Под ним стояла скамья, на которой дремал человек с перевязанной головой.

— Удобно, — сказал я. — Здесь лечат сразу обе половины человека.

— Иногда они спорят, какая из них больна сильнее.

Из часовни донёсся голос. Он не был громким, но своды подхватили его и вынесли в галерею уже очищенным от человеческого дыхания. Мэри замедлила шаг. Я тоже остановился, хотя остановка далась мне труднее движения.

Двери были раскрыты. За ними в полумраке сидели несколько больных, две сестры, старуха с корзиной и мальчик в слишком большом воскресном сюртуке. На кафедре стоял молодой священник. Свет узкого окна падал ему на плечо, оставляя лицо в тени.

Я успел только на самый финал проповеди.

— И сотворил Бог мир, и сказал, что это хорошо.

— И сотворил Бог человека, и вложил Он в него любовь, дабы тесно не было сердцу человеческому в пределах одной судьбы.

Голос прошёл под сводами и вернулся тише. Я почувствовал, как Мэри перестала следить за моей больной ногой и посмотрела внутрь часовни.

— И увидел Дьявол любовь и возненавидел её и внёс он в неё пороки.

Священник положил обе ладони на края кафедры.

— И явились те пороки под семью именами. И было первое имя — гордыня, второе — алчность, третье — зависть, четвёртое — чревоугодие, пятое — гнев, шестое — лень, седьмое — похоть.

При слове «семь» что-то отозвалось во мне. Не память — скорее ожидание памяти, как если бы за закрытой дверью один за другим прошли семь человек и каждый на мгновение задержался у порога. Я не видел их лиц. Мне казалось только, что все они однажды назовут меня по имени.

Священник несколько неприлично для проповеди чихнул. Затем в часовне стало так тихо, что я слышал, как далеко в палате звякнуло стекло, и продолжил.

— И каждое имя говорило человеку: «Я и есть любовь».

— И верил человек каждому.

— Но была любовь прежде них всех.

Я посмотрел на Мэри. Она стояла совсем близко, и в тусклом свете её лицо казалось спокойнее, чем ночью. Мне вдруг захотелось спросить, каким именем назвала бы себя любовь, если бы ей не позволили выбрать имя Мэри. Я не спросил.

Священник поднял голову.

Последние слова священника исчезли не сразу. Они задержались под каменными сводами, потом в галерее, потом — уже без голоса — где-то у меня в груди.

Мэри первой тронулась с места.

— Это была проповедь или предупреждение? — спросил я, догоняя её одним неловким прыжком.

— В больнице разница невелика.

— Как вы думаете, какое из семи имён досталось мне?

Она окинула меня взглядом — от повязки на голове до ноги, подвешенной между костылями.

— Просто Марк, — сказала она. — Для сегодняшнего утра этого достаточно.

Мы продолжили прогулку. Теперь Мэри всё-таки взяла меня под руку. Я не возражал. За нашей спиной священник начал говорить дальше, но слов уже нельзя было разобрать; остался только голос, смешивавшийся со звоном посуды, шагами, кашлем и далёким колокольным ударом. Церковь и больница снова говорили одновременно, каждая на своём языке.

Когда мы вернулись в палату, я устал так, будто пересёк весь Лондон. Мэри помогла мне лечь, сняла шюртук и поставила костыли у стены.

— Не говорите мистеру Уиткомбу, что мы гуляли, — сказала она.

— Я скажу, что вы похитили меня против моей воли.

— Тогда он поверит только второй половине.

Мистер Уиткомб появился без шюртука, в закатанных рукавах и тёмном переднике. За ним вошли помощники. Один нёс таз, другой — стеклянный флакон и сложенную ткань.

Я сразу узнал назначение флакона, хотя не мог вспомнить, откуда. Знал запах ещё до того, как пробку вынули. Знал, что ткань положат мне на лицо. Знал, что сначала возникнет тепло, потом звон и ощущение падения.

— Вы уже делали это со мной? — спросил я.

Мистер Уиткомб решил, что вопрос обращён к нему.

— Лично с вами — нет. Но уверяю, вы не первый человек, которого переехал экипаж.

— Утешает сама статистика.

Слово показалось ему странным, но он не стал переспрашивать.

Мэри помогла переложить меня на узкую тележку. Она не передевалась и выглядела так, словно ночь прошла по её лицу тяжёлыми башмаками.

Тележка двинулась по уже знакомому коридору. Потолочные балки проплывали над мной одна за другой. Из открытых дверей тянуло паром, хлебом, мочёным бельём и холодом. Мы миновали часовню; служба закончилась, двери были прикрыты, но мне всё ещё казалось, что под каменными сводами звучат последние слова проповеди. За следующим поворотом воздух стал резче. На стене висели кожаные передники, и один из них медленно раскачивался, хотя никто к нему не прикасался.

Комната для операций была небольшой и слишком светлой. Высокое окно выходило во двор. В сером утреннем свете блестели металлические инструменты, разложенные на белой ткани. Вдоль стены поднимались деревянные скамьи для учеников. Несколько молодых людей уже сидели там, стараясь выглядеть опытнее своего возраста.

Меня охватило унижение сильнее страха.

— Они будут смотреть?

— Да, конечно, ведь они будут учиться, — сказал мистер Уиткомб.

— На мне?

— Постарайтесь лечь красивее и быть поучительным для них.

Помощники подняли меня на стол. Дерево под простынёй оказалось холодным. Ремень лёг поперёк бёдер.

Я посмотрел на Мэри.

— А вы тоже останетесь?

— Я уйду, когда вы уснёте.

— Вы уже говорили это ночью.

— Да, и вы всё-таки уснули.

— Значит, вы ушли?

— Нет, — с небольшой паузой ответила Мэри.

В этом коротком ответе было больше, чем я мог вынести. Я отвернулся, чтобы она не увидела моего лица.

Мистер Уиткомб что-то объяснял ученикам: положение кости, глубину раны, опасность лихорадки. Его голос звучал ровно, будто речь шла о механизме, который можно разобрать и собрать заново. Я подумал, что тело действительно является механизмом, но человек — нет. Человека нельзя собрать только из частей, особенно если он не помнит, кому они принадлежали.

Помощник налил жидкость на ткань. В воздухе распространился сладкий, удушливый запах.

— Глубоко дышите, — сказал он.

Я отодвинул маску.

— Мэри.

Она подошла ближе.

— Если я не проснусь...

— Проснётесь.

— Вы не можете знать.

— Не могу.

— Тогда зачем говорите?

— Потому что сейчас вам нужна не правда.

Я хотел возразить. Но понял, что она права, и это было последним унижением, которое я принял добровольно.

— Скажите ещё раз.

Мэри коснулась тыльной стороной пальцев моего виска.

— Я здесь, Марк.

Ткань опустилась на лицо. Запах заполнил рот и лёгкие. Газовый свет — хотя в комнате не было газа — вспыхнул за закрытыми веками. Где-то далеко зазвенело. Я услышал голос, просивший считать в обратном порядке.

— Десять, — сказал я.

Деревянные стены операционной отступили.

— Девять.

Скамьи поднялись вверх, словно я смотрел на них со дна колодца.

— Восемь.

Лицо Мэри отдалилось. Белый чепец растворился в ослепительном свете, а больничное окно вытянулось и стало французским окном под самой крышей незнакомого дома.

Я хотел произнести «семь», но не вспомнил, какое число следует дальше.

Когда зрение вернулось, Мэри уже не было передо мной. Рядом стояла совершенно другая женщина. Она говорила по-французски, держала в руке кисть и смотрела не на меня, а на последнюю стену дома, раскрытого перед небом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Последняя стена

В 1877 году слово «Художник» для меня звучало гораздо значительнее, чем было на самом деле. «Художником» называл меня хозяин дома, когда объяснял новым жильцам, почему из-под нашей двери пахнет скипидаром. «Художником» называл меня торговец красками, прежде чем открыть книгу моих долгов.

Я сам произносил это слово редко и только в тех случаях, когда собеседник не мог попросить доказательств.

Этим прохладным парижским утром Мадлен стояла передо мной в сером платье, испачканном охрой у локтя.

— Не двигайся, — сказала она.

Она смотрела поверх моего плеча на дом, который ломали на другой стороне улицы. От него уже осталась одна стена — высокая, бледная, нелепо обнажённая. Комнаты, прежде скрытые от чужих глаз, теперь висели одна над другой под открытым небом. На третьем этаже сохранились голубые обои; на втором — камин без комнаты; под самой крышей чернела дверь, за которой больше не было ни пола, ни лестницы.

Рабочие внизу разбирали кирпич. Их кирпичи входили в кладку с сухим, уверенным стуком. Пыль лежала на мостовой, на листьях молодых платанов, на цилиндрах прохожих и на булках в витрине пекаря. Лошади переступали в белёсой муке, поднимавшейся от каждого колеса.

Париж казался картиной, которую кто-то начал стирать с одного края, чтобы написать поверх нее другую. Причем, на этом холсте это была уже далеко не первая попытка.

— А я и не двигаюсь, — ответил я.

— Допустим, не двигаешься. Но ты заслоняешь нижнее окно.

— Там уже нет никакого окна. Скорее, его можно назвать «прямоугольная дыра».

— Хорошо, в таком случае ты заслоняешь прямоугольную дыру.

Я отошёл. Мадлен даже не поблагодарила меня и снова коснулась кистью небольшого картона, укрепленного на складном мольберте. Ветер шевелил выбившуюся из-под шляпы тёмную прядь. Когда Мадлен работала, она закусывала левую сторону губы и становилась похожа на человека, который слышит слишком тихую музыку и сердится на весь мир за то, что тот мешает.

Мы познакомились с ней за год до этого в мастерской месье Бонне. Женщинам там разрешалось рисовать гипсовые головы по утрам, пока мужчины ещё спали после вечерних кафе. Мадлен приходила раньше сторожа, разводила огонь и выбирала место у окна. Она рисовала быстро, без робости, а потом соскребала половину сделанного, если находила хоть одну неверную линию.

В первый день нашего знакомства я поправил на ее картине ухо Аполлона.

— Ухо слишком низко, — сказал я.

— У Аполлона или у вас? — спросила она.

Через неделю мы вместе пили дешёвое вино на набережной. Через месяц она переехала в комнату этажом ниже моей. К зиме мы уже не знали, где кончаются её кисти и начинаются мои, а хозяйка перестала считать нас двумя жильцами, хотя плату по-прежнему брала как с двоих.

Я любил Мадлен за то, что она никогда не восхищалась мною из вежливости. Тогда мне казалось, что это самая чистая разновидность любви. Позднее я понял: мы особенно ценим в любимых то, что однажды постараемся в них уничтожить.

— Это тот самый дом? — спросил я.

Кисть в её руке остановилась.

— Да, это он. — с небольшой паузой ответила она.

Мадлен выросла здесь же, на улице Сен-Лазар, тогда улица была темнее, страшнее и беднее, чем в наши дни. В голубой комнате третьего этажа спала её мать. У камина на втором отец переплетал книги для людей, которые никогда не поднимались к нему по лестнице. Под крышей жила сама Мадлен; в дождь она ставила медный таз у кровати и представляла, будто спит в лодке.

Теперь префект Осман проводил через кварталы новые проспекты. На планах это выглядело как несколько прямых линий. На земле линии проходили прямо сквозь спальни, кухни, лавки, супружеские ссоры, детские болезни и воскресные обеды. Газеты называли это обновлением Парижа.

— Тебе следовало прийти вчера, — сказал я. — Пока оставалось больше дома.

— Вчера его было слишком много.

— А завтра не останется ничего.

— Вот, поэтому я и пришла сегодня.

Я раскрыл зонт, заслоняя ей солнце, и простоял рядом почти час. Иногда она просила меня смешать краску. Иногда забывала, что я здесь. Для влюблённого мужчины нет более действенного способа почувствовать себя лишним, чем смотреть на любимую женщину, занятую делом, в котором она не нуждается в его помощи. Но одно только присутствие её рядом уже делало меня не лишним в этом мире.

Когда рабочие сделали перерыв, мы сели у стены соседнего дома. Мадлен вынула из корзины хлеб, два яблока и свёрток козьего сыра.

— Ты опять забыла нож, — сказал я.

— Главное, что не забыла взять тебя, — и она, играясь, легонько ткнула меня в живот.

Я разломил сыр мастихином (прим. ред. — специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления остатков краски). Она засмеялась и стёрла большим пальцем белое пятно с моего рукава. Её палец задержался возле моего запястья, там, где под кожей бился пульс. На мгновение улица, грохот и пыль отступили. Осталось только это прикосновение — простое, доверчивое, почти семейное.

Мне вдруг показалось, что я уже много раз видел, как человек касается другого именно там. Не на улице и не при солнечном свете: вокруг были белизна, гладкий металл, быстрые голоса, а над лицом склонялась женщина в странной маске. Я знал, что под её пальцами должен появиться ряд вспышек и пугающий тонкий писк, но не мог вспомнить, откуда знаю это.

— Что с тобой? — спросила Мадлен.

— Ничего. Ты считаешь мой пульс.

— Я считаю лишние пятна краски. Пульс у тебя слишком высокого мнения о себе.

Она убрала руку, и волнительное ощущение исчезло.

После полудня я ушёл в мастерскую. Мне предстояло закончить «Ахилла у тела Патрокла» — огромное полотно, предназначенное для жюри Всемирной выставки 1878 года. До выставки оставалось еще больше года, но Ахилл уже занимал почти всю нашу комнату и уже почти три месяца мешал открывать шкаф. Его обнажённое плечо было написано по руке грузчика с рынка, шлем — по медному тазу хозяйки, а скорбь — по всем правилам академической композиции.

Я верил в свою картину с той истовой жестокой страстью, с какой молодой человек верит только в то, что должно возвысить его над знакомыми.

Мадлен называла Ахилла «твой большой несчастный мужчина».

— Он недостаточно большой, — отвечал я. — Я бы хотел, чтобы на выставке его повесили выше всех остальных картин.

— Тогда напиши ему ноги длиннее в 3 раза, и всего делов, — расхохоталась Мадлен.

Она почти никогда не спорила о моих картинах серьёзно. Это раздражало меня сильнее критики. Мне казалось, что она не понимает масштаба моей задачи. Я собирался войти в историю искусства, а она писала прачек, разбитые окна, стариков в омнибусах и мокрые крыши.

Вечером она принесла первый этюд стены. Я поставил его на шкаф рядом с гипсовой кистью руки и отошёл.

— Небо слишком зелёное, — сказал я.

— Оно на самом деле было таким из-за пыли.

— Но зритель-то этого не знает.

— Если знаю я, то узнает и зритель, — парировала она.

Я указал на тёмное пятно у камина.

— Здесь нужен человек. Маленькая фигура даст меру.

— Где я тебе возьму человека? Он уже ушёл.

— Тогда хотя бы собака.

— Собака увидела кошку и убежала.

— Мадлен, ты же знаешь, что живопись не обязана подчиняться тому, что случилось.

Она сняла шляпу и встряхнула волосы. В них осталась светлая строительная пыль, и на мгновение она показалась поседевшей.

— И чему же она обязана подчиняться?

Я хотел ответить: художнику. Ответ был настолько очевиден, что не было смысла произносить его. Я ответил, — Конечно, тебе! — и поцеловал её в немного испачканное краской ухо.

• • •

Следующие шесть дней Мадлен возвращалась к стене. Дом становился меньше, а её полотно — больше. Она купила на последние деньги хороший холст, натянула его в моей мастерской и поставила напротив окна. Теперь Ахилл и разрушенный дом стояли лицом друг к другу: герой, оплакивающий друга, и пустые комнаты, в которых оплакивать было некому.

Утром я работал над плечом Ахилла. Мадлен работала сосредоточенно и молча. После полудня я уходил к Бонне или в кафе, где художники заранее распределяли между собой будущую славу.

Возвращаясь, я всякий раз замечал, что стена дома на картине Мадлен изменилась, но не мог сказать как. Однажды на голубых обоях внутри полуразрушенного дома появилась светлая полоска.

— Что это за полоска? — спросил я.

— Рост, разве не понятно?

— Чей рост?

— Мой. Отец отмечал каждый день рождения. Вот пять лет, вот шесть, вот семь. Дальше обои переклеили.

На другой день у камина проступил тёмный прямоугольник.

— Там висел портрет матери, — сказала Мадлен. — Когда она умерла, отец снял его и не смог вернуть на место. Стена осталась светлее, но я пишу тень. Так вернее.

Она добавляла не предметы, а следы от них: круг от чашки на подоконнике, два гвоздя над кроватью, выцветший силуэт шкафа, узкую царапину возле двери. Комнаты освобождались от вещей и наполнялись жизнью. Чем меньше людей было на картине, тем теснее становилось от их присутствия.

Я начал давать советы реже.

По вечерам мы ужинали у окна. Внизу зажигались газовые фонари, и Париж распадался на освещённые островки среди полной тьмы. Из соседней комнаты доносилась скрипка; жилец знал одну мелодию и играл её так упорно, будто надеялся однажды случайно закончить правильно.

— Когда мы разбогатеет, — говорила Мадлен, — у нас будет мастерская на северной стороне Сены.

— Когда я разбогатею, у нас будет две мастерские, с обеих сторон.

— Зачем?

— Чтобы не видеть твою стену рядом с моим Ахиллом.

К моему счастью, Мадлен настолько засмеялась моей несколько неловкой шутке, что слезы от смеха скатились поверх пятен краски на её щеке.

Иногда Мадлен садилась на пол, прислонившись спиной к моим коленям, и читала вслух газету. Мы следили за приготовлениями к Всемирной выставке. В Париж должны были приехать королевы, промышленники, инженеры, торговцы, изобретатели и столько англичан, что владельцы гостиниц заранее простили Британии Ватерлоо. Во Дворце промышленности собирались показывать новые машины, оружие, ткани, сельскохозяйственные орудия и устройство, которое якобы не позволяло подъёмной платформе упасть, если оборвётся трос.

— Представь, — сказала Мадлен, — люди добровольно войдут в коробку, которую поднимут над землёй.

— Скоро они будут делать это каждый день и сердиться, если коробка задержится на несколько секунд.

Она повернула голову.

— Ты иногда говоришь как сумасшедший.

— Человек из будущего всегда кажется сумасшедшим человеку из прошлого.

Фраза показалась мне удачной. Я записал её на полях газеты, чтобы произнести в кафе.

В последний вечер Мадлен не позволила мне смотреть на картину. Она работала до рассвета, а потом уснула на узкой кушетке, не сняв платья. Я нашёл её там утром. Кисть лежала на полу, ладонь была испачкана лазурью, на щеке отпечатались шов подушки.

Я накрыл её своим сюртуком и подошёл к холсту.

Картина называлась «Последняя стена».

Название было написано углём на деревянной планке. Ниже стояло имя: «Мадлен Богарне».

Сначала я увидел знакомый дом. Затем — свет.

Он падал справа, проходил сквозь комнаты, которым больше нечем было его остановить, и превращал остаток стены в нечто среднее между декорацией и человеческим телом. Голубые обои сияли холодно, как зимнее утро. Кирпичи внизу были тёплыми, почти живыми. Лестница, обрывавшаяся на уровне второго этажа, вела прямо в небо. На мостовой рабочий поднял кирку, но его лицо было обращено не к стене, а куда-то за край картины — словно разрушали не дом, а мир, и он первым услышал, как тот треснул.

В центре не происходило ничего. Там была пустая комната. Именно от неё я не мог отвести глаз.

Мадлен оставила на стене светлые отметки роста, две уцелевшие полосы обоев и тень от снятого портрета. Этого было достаточно, чтобы я увидел девочку, её мать и старого переплётчика. Я увидел зимы, которые они пережили, запах супа, мокрые башмаки у двери, отцовскую спину над тиснённым корешком, детскую руку с куском угля. Ничего этого на холсте не было, но всё это находилось внутри него.

Картина не изображала разрушенный дом. Она изображала мгновение, когда чужая жизнь становится видна всем — и уже поэтому перестаёт принадлежать тем, кто её прожил.

Я отступил на шаг.

Мне хотелось коснуться какого-нибудь фрагмента и приблизить его, как если бы поверхность могла послушно раздвинуться под пальцами. На мгновение я увидел картину заключённой в тонкую чёрную рамку, наполненную собственным холодным светом. В углу будто стояло число — множество невидимых зрителей уже посмотрели на неё, оценили и пошли дальше. Потом утреннее солнце легло на лак, и видение исчезло.

Я снова прочитал подпись — «Мадлен Богарне».

Это была великая картина.

Знание пришло сразу, без рассуждений. В нём не было ни дружеской снисходительности, ни любовной слепоты. Напротив — я увидел все достоинства полотна с ясностью хирурга. Композицию нельзя было улучшить. Цвет нельзя было сделать точнее. Даже случайные потёки пыли у нижнего края казались необходимыми.

И в ту же секунду я понял другое: мой Ахилл мёртв.

Он был мёртв не потому, что лежал мёртвым рядом с телом Патрокла. Он был мёртв как картина. В нём имелись верные мышцы, убедительный металл, благородный жест и тщательно написанная скорбь. Не было только того, что находилось в пустой комнате Мадлен: жизни, которой художник не распоряжается, а лишь успевает коснуться.

Даже если бы я написал Ахиллу ноги в 50 раз длиннее, чем должно быть на самом деле, моя картина все равно была бы меньше, чем её.

Я посмотрел на спящую Мадлен.

Мне следовало разбудить её, опуститься рядом и сказать правду. Я почти сделал это. Но во мне поднялось чувство, которое сперва показалось страхом. Оно было холодным, аккуратным и очень разумным.

В течение года я объяснял ей перспективу, исправлял рисунок, выбирал кисти, говорил о Делакруа и Энгре, смеялся над её прачками. Я позволял ей любить себя как человека, который однажды станет знаменитым. На этом невысказанном обещании держалась вся архитектура нашей близости. Теперь одна картина меняла этажи местами. Учитель оказывался учеником, снисходительность — слепотой, великодушие — удобной позой.

Я почувствовал не зависть. Зависть пожелала бы уничтожить полотно. Я хотел, чтобы полотно осталось навсегда в этом мире.

Мадлен шевельнулась под сюртуком.

Я отошёл от картины.

— Ты видел? — спросила она, не открывая глаз.

— Видел.

— И?

В одном коротком слове было больше тревоги, чем она позволяла себе показать за весь год.

— Небо всё-таки слишком зелёное, — сказал я.

Мадлен открыла глаза. Несколько мгновений она смотрела на меня, потом села и забрала сюртук с плеч.

— Значит, получилось.

— Почему?

— Ты говоришь о небе, когда тебе больше нечего исправить.

Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Я поцеловал её в ответ, но изогнутые вниз кончики губ несколько исказили мою улыбку.

• • •

Жюри выставки принимало работы до шести часов вечера. Женщина могла представить полотно, но Мадлен не хотела сама идти во Дворец изящных искусств. Она говорила, что чиновники смотрят сквозь неё, а если узнают, что она молода и не замужем, то начинают искать взглядом мужчину, которому следует отвечать.

— Отнеси ты, — попросила она. — Тебя они увидят.

Мы завернули «Последнюю стену» в холстину. Мадлен привязала к раме карточку с названием и именем. Её пальцы дрожали, и она дважды переделывала узел.

— Если не примут, — сказала она, — ничего не говори сразу. Принеси домой, поставь у стены и дай мне приготовить ужин. Потом скажешь.

Она обняла меня. Между нами стояла завёрнутая картина, и поэтому объятие вышло неловким. Мадлен рассмеялась мне в шею.

— Если примут, я куплю тебе новый сюртук.

— На какие деньги?

— На те, которые ты зарабатываешь.

Я поцеловал её. Вкус кофе остался на её губах. Она проводила меня до лестницы и долго стояла наверху, пока я спускал полотно, стараясь не задеть стены.

Моего Ахилла мы я с двумя грузчиками отнесли накануне.

У служебного входа во Дворец изящных искусств меня остановил знакомый привратник. За ним, в длинном коридоре, громоздились полотна: мученики, нимфы, генералы, римские сенаторы, бретонские рыбаки и неизбежные Венеры, застигнутые в тот момент, когда им меньше всего хотелось одеваться.

— Лаваль, — сказал привратник, листая список. — Вам уже послали уведомление.

— Какое?

Он нашёл строку и прикрыл её пальцем, словно мог смягчить написанное.

«Ахилл у тела Патрокла» был отклонён.

Я перечитал запись. Возле названия стояла маленькая красная черта. Такой ничтожный знак отменял несколько месяцев работы, долг торговцу красками, медный таз хозяйки, руку грузчика и всё будущее, которое я успел разместить в одном огромном холсте.

— В этом году прислали слишком много исторических композиций, — сказал привратник. — Вы ещё молоды.

Никогда не говорите молодому человеку, что он молод, когда хотите его утешить. Он услышит только: никто.

Я стоял посреди коридора с картиной Мадлен. Служитель спросил:

— Эта тоже ваша?

Вопрос был задан буднично. Ответ мог быть таким же простым.

Я посмотрел на карточку, привязанную к верёвке.

— Да, — сказал я.

Я унёс картину, объяснив, что забыл квитанцию.

На улице шёл тёплый дождь. Он прибавал пыль к мостовой и превращал белые фасады в серые. Я спрятался с полотном под навесом закрытой лавки. Прохожие торопились, прикрывая шляпы газетами. В стекле напротив отражался молодой мужчина, державший чужую картину как дверь, за которой ему позволили укрыться.

Я мог вернуться домой. Мадлен увидела бы моё лицо и всё поняла. Она поставила бы суп, как обещала, а вечером мы, возможно, посмеялись бы над жюри. Я мог сказать ей, что её полотно гениально. Мы могли прожить бедно ещё год, два, пять. Однажды её имя стало бы известно, и люди говорили бы обо мне: тот самый Лаваль, который первым её понял.

В переулке за дворцом находилась мастерская позолотчика, у которого я иногда покупал старые рамы. Он дал мне угол стола, тряпку и растворитель. Я сказал, что автор не слишком грамотен, поэтому неверно написал своё имя.

— Бывает, — ответил он. — Особенно у авторов.

Мне снова привиделась светящаяся поверхность, на которой можно отменить поступок одним прикосновением. Там имя исчезло бы чисто, мгновенно, без запаха растворителя и без грязной краски на пальцах.

Подпись Мадлен стояла в правом нижнем углу, на тёмном кирпиче. Она была маленькой и спокойной. Я смочил тряпку.

«Мадлен Богарне». У неё была такая же фамилия, как у одной из жён великого Наполеона, и мне всегда это немного льстило. Но теперь её фамилия раздражала меня, потому что в ней было целых 7 букв, каждую из которых предстояло тщательно очистить. «Вот если бы её фамилия была, к примеру, «Дьё», это бы сэкономило мне время на очистку целых четырёх лишних букв» — я усмехнулся своим мыслям, которые пришли мне в голову сами по себе.

Первая буква имени — «М».

Поверхность холста сопротивлялась. Уничтожение первой буквы далось мне сложнее всего. Мои действия только размазали её букву, но не уничтожили полностью.

На лбу у меня выступили капли пота, хотя в мастерской было довольно прохладно.

«А».

«Д».

...

Я стирал буквы, и каждая из них была как ступень на лестнице, ведущей к моему величию.

Снятие всех 6 букв её имени заняло чуть больше часа. Имя стало похоже на своё едва заметное отражение в воде во время плотных сумерек.

Немного передохнув, я приступил к фамилии.

«Б».

«О».

«Г».

Глаза у меня сильно слезились не от краски, а от напряженной сосредоточенности. Я даже не заметил, что у меня совершенно затекли ноги.

«А».

«Р».

«Н».

Когда исчезла последняя, седьмая буква «Е», на одном из оставшихся кирпичей полуразрушенной стены осталось мутное пятно. Я смешал краску, восстановил тень и подождал, пока она подсохнет. Потом взял тонкую кисть.

Я написал «Марк Лаваль» поверх получившегося пятна чуть большим шрифтом, чтобы занять освободившееся место и перекрыть надписью испортившиеся участки картины.

Я подумал, что жюри всё равно не примет картину женщины. Без моих уроков Мадлен всё равно не смогла бы написать лестницу. Что великие мастерские веками ставили имя одного художника на работу многих рук. Да и когда появятся деньги, мы поженимся, и разница между её именем и моим станет простой формальностью.

Последняя мысль понравилось мне больше других.

В шесть часов без десяти слугитель записал «Последнюю стену» за номером 4172.

— Автор? — спросил он.

— Марк Лаваль.

Он записал.

Всё произошло так легко, что на секунду я обиделся на мир. Подлость, ради которой человек собирает всю свою волю, должна встречать хотя бы небольшое сопротивление — запертую дверь, внимательный взгляд, внезапный гром. Но перо только скрипнуло по бумаге.

Мне выдали квитанцию. Я спрятал её во внутренний карман, прямо над сердцем.

• • •

Мадлен ждала меня у окна. На столе стояли две тарелки супа, накрытые перевернутыми мисками, чтобы не остыли.

«Ну что?» — спросила она беззвучно, одним только взглядом.

— Приняли на рассмотрение.

Она медленно выдохнула. Не вскрикнула, не бросилась мне на шею — только осела, будто долго несла тяжёлую вещь и наконец могла поставить её на пол.

— Я знал, — сказал я.

— Нет. Ты только говорил, что знаешь.

— Для нас с тобой одно и то же.

Она подняла на меня сияющий взгляд.

В ту ночь мы не спали. Мадлен говорила о новой картине: женщина ждёт последний омнибус под дождём, а в окне за её спиной уже гасят свет. Я строил планы мастерской, поездки в Италию, большого дома. В каждом плане имя автора «Последней стены» звучало всё тише.

Я лежал рядом с Мадлен, чувствуя тепло её плеча. Пока она не знала, мне казалось, что ещё ничего не совершено. Правда существовала только во мне, а значит, я всё ещё был её хозяином.

Через четыре дня пришло письмо. «Последнюю стену» месье Марка Лавалья принимали на выставку.

Мадлен прочла его трижды.

— Здесь только твоё имя, — сказала она.

Я заранее приготовил ответ, который отрепетировал заранее несколько десятков раз.

— Потому что полотно сдавал я. Это имя подателя, а не автора.

Она нахмурилась.

— Чиновник ошибся. Мы исправим перед открытием, — добавил я.

Я произнёс это с такой беспечностью, что она сразу расслабилась и начала щебетать о том, как мы будем ходить по выставке рядом с другими посетителями, рассматривающими её картину.

Утром я подарил ей тюбик дорогой кобальтовой краски. Мадлен поцеловала меня и сказала, что теперь простит неловкому чиновнику всё. Её прощение, предназначенное другому, принесло мне неожиданное облегчение.

До открытия оставалось две недели.

Меня вызвали во дворец для уточнения каталога. Потом пригласили присутствовать при развеске. Затем один из членов жюри, седой пейзажист Девер, попросил рассказать, где я нашёл этот мотив.

Сначала я отвечал коротко.

— На улице Сен-Лазар.

— Вы знали жильцов?

— Немного.

— Эти отметки роста... удивительная деталь.

— Мой отец отмечал мой рост на стене. Он умер ещё когда я был маленьким, — ответил я, опустив глаза.

Ложь легла на язык без усилия. Девер тронул меня за локоть в попытке выразить безмолвное утешение, совмещенное с невысказанной радостью от моих страданий, ведь только благодаря им появилась эта деталь.

После этого чужая память постепенно стала открываться мне сама. Я рассказал, как зимой протекала крыша и мальчик Марк представлял свою кровать лодкой. Как отец-переплётчик сидел у камина. Как после смерти матери на обоях остался прямоугольник от портрета. Я придумал только даты, потому что не знал их точно. Всё остальное взял у Мадлен — из тех вечеров, когда она лежала рядом и верила, что рассказанное останется между нами.

Мою биографию слушали с трогательным восхищением. Собственная жизнь начала казаться мне необычайно захватывающей.

Я приходил во дворец ежедневно. Картина висела в центральном зале, немного выше уровня глаз, между итальянским пейзажем и портретом императорского офицера. Возле неё всегда кто-нибудь стоял. Я научился по выражению лиц понимать, когда зритель сначала видит стену, а потом — пустую комнату.

Каждый новый взгляд будто прибавлял что-то к моему телу. Я становился выше, тяжелее, заметнее. Мне казалось, над рамой вспыхивает невидимое число: семь зрителей, двенадцать, сорок три. Если зал пустел, число замирало, и я испытывал досаду, похожую на голод.

Газета напечатала короткую заметку: «Молодой Лаваль обнаруживает редкую способность соединять общественное преобразование столицы с интимной утратой».

Я вырезал её и носил в кармане.

Мадлен в эти дни работала дома. Ей не выдавали пропуска до официального открытия, а я убеждал, что картина ещё висит плохо и смотреть рано.

— Ты исправил каталог? — спрашивала она.

— Директор отсутствовал.

— А сегодня?

— Перепечатывать уже поздно. Перед открытием выставки положат карточку с исправлением.

— С моим именем?

— Разумеется.

Она хотела верить мне сильнее, чем я боялся быть разоблачённым.

За день до открытия Мадлен купила тёмно-синюю ленту и пришила её к старому платью. Я застал её перед зеркалом. Она подняла волосы и попросила застегнуть маленькую пуговицу на шее.

Мои пальцы долго не справлялись.

— Ты волнуешься больше меня, — сказала она.

В зеркале мы стояли близко: её лицо впереди, моё над её плечом. Мы выглядели как люди на семейном портрете, написанном до того, как с ними случилось несчастье.

— Мадлен, — начал я.

Она встретила со мной глазами в отражении.

Мне хотелось сказать всё. Вместо этого я поцеловал её в затылок.

— Ты прекрасна.

— Надеюсь, это не требуется исправлять перед открытием выставки? — улыбнулась она.

• • •

Утром Париж заполнился экипажами. К Дворцу изящных искусств стекались дамы в широких юбках, дипломаты, военные, критики, художники и люди, желавшие быть принятыми за критиков или художников. Под стеклянной крышей стоял гул, похожий на море. Пахло духами, мокрой шерстью, свежим лаком и цветами, которыми украсили лестницы.

Я вошёл один.

Мадлен задержалась: хозяйка попросила помочь с заболевшим ребёнком. Мы договорились встретиться у картины в полдень. До полудня оставалось сорок минут — достаточно, чтобы найти директора и потребовать изменить карточку.

Возле «Последней стены» меня остановил Девер.

— Вот наш парижский археолог, специализируется на старых зданиях! — воскликнул он. — Лаваль, познакомьтесь: графиня де Ларош, барон Вайс из Вены, месье Обри из «Журналь де Деба».

Я поклонился.

На раме под картиной блеснула новая табличка:

МАРК ЛАВАЛЬ

ПОСЛЕДНЯЯ СТЕНА

1878

Имя было напечатано крупнее названия.

— Расскажите графине о матери, — попросил Девер.

Я рассказал.

Потом меня спросили об отце, и я рассказал об отце. Обри захотел узнать, символизирует ли лестница движение современного общества вверх или невозможность возвращения. Я ответил, что настоящая лестница всегда ведёт одновременно в обе стороны, но человек выбирает направление после того, как ступит на неё.

Он записал и это.

Подшли другие. Круг вокруг меня расширялся. Кто-то произнёс слово «медаль». Вайс спросил, позволю ли я после закрытия парижской выставки отправить полотно на несколько месяцев в Вену. Графиня попросила позволения представить меня императрице, если та посетит зал.

Я знал, что Мадлен войдёт с минуты на минуту. Каждая минута могла стать последней, в которой я ещё являлся автором картины. Поэтому я старался прожить её полнее.

В половине первого я увидел синюю ленту.

Мадлен стояла за спинами зрителей. Сначала она смотрела только на картину. Её лицо осветилось тем тихим счастьем, которое я видел утром после окончания работы. Потом взгляд опустился на табличку.

Счастье не исчезло сразу. Оно словно не поняло, что должно исчезнуть.

Мадлен прочитала моё имя. Посмотрела на нижний угол холста. Сделала шаг ближе. Люди расступились, приняв её решимость за право.

Она увидела подпись.

Наши глаза встретились.

Я продолжал говорить. Не помню о чём. Возможно, о свете.

Мадлен повернулась и вышла из зала.

Я мог пойти за ней. Ноги даже сделали движение, но Вайс положил ладонь мне на плечо.

— Что насчёт Вены, месье Лаваль?

— После Парижа, — ответил я.

Эта фраза задержала меня ещё на минуту бессмысленного разговора. Затем графиня задала вопрос. Потом Обри попросил повторить мысль о лестнице. Когда я наконец освободился, Мадлен уже не было в зале.

Я нашёл её во внутреннем дворе за дворцом. Там складывали пустые ящики и упаковочную солому. Сквозь открытую дверь доносились музыка и голоса; во дворе было прохладно и почти тихо.

Мадлен стояла лицом к кирпичной стене.

— Посмотри на меня, — сказал я.

— Я и так весь день смотрю на стены.

— Я собирался исправить имя.

— Когда?

— Сегодня.

— До того или после того, как пообещал мою картину барону Вайсу?

— Я ничего ему не обещал.

— Значит, осталось только поблагодарить его за прекрасный отзыв о картине?

Она повернулась. Я ожидал слёз, но их не было. От этого мне стало страшнее.

— Что бы ты сделала с картиной, если бы её не приняли? — спросил я. — Убрала бы в мастерскую? Показала Бонне? Он похвалил бы тебя и посоветовал писать цветы. Под моим именем картину увидели и оценили.

— То есть ты сделал это для картины? — с иронией спросила она.

— Для нас.

— Не произноси это слово.

— Мы всё равно будем вместе. Я объясню после награждения. Скажу, что полотно написано совместно. Тебе дадут заказы. Мы поженимся.

— И тогда моё имя действительно станет необязательным.

— Ты ведь знаешь, как устроен наш мир.

— Сегодня я узнала, как устроен ты.

Она вынула из сумки сложенный лист. Это был подготовительный рисунок стены: быстрые угольные линии, отметки цвета, дата и её подпись.

— Я принесла его, чтобы показать тебе, — сказала она. — Утром мне показалось, что ты волнуешься из-за жюри. Я хотела сказать, что без тебя не решилась бы выставить картину.

— Мадлен...

— Я могла бы сейчас войти с этим рисунком в зал. Могла позвать директора. Могла сказать всё при критиках.

Она протянула лист мне.

— Сделай это сам.

— Что?

— Вернись и скажи, кто написал картину.

В её голосе не было угрозы. Она предлагала мне не спасение картины и даже не спасение нашего будущего. Она предлагала шанс спасти того человека, которого любила во мне.

— Они уже не поверят, — сказал я.

— Поверят. Ты умеешь говорить убедительно.

— Но я буду уничтожен.

— Нет. Ты будешь унижен. Это не одно и то же.

Я посмотрел на рисунок. Мадлен долго молчала. Она разорвала рисунок пополам. Потом ещё раз. Куски упали в пустой ящик.

— Зачем? — спросил я.

— Чтобы твой выбор принадлежал тебе. Без страха передо мной.

Из зала донеслись аплодисменты. Кто-то искал меня.

Мадлен поправила синюю ленту на платье.

— Пойдём, Марк. Тебя ждут.

• • •

Мы вернулись вместе.

Возле картины собралось ещё больше людей. Девер заметил Мадлен и приветливо улыбнулся.

— А вот и молодая дама! Лаваль, представьте нас.

Наступила пауза. Небольшая, почти незаметная. В ней помещалась вся моя оставшаяся жизнь.

Я мог произнести: «Мадлен Богарне, автор этой картины».

Я увидел, как изменятся лица. Как Обри опустит карандаш. Как Вайс уберёт ладонь с рамы. Как краснеет Девер. Как моё имя уже завтра появится в газете не среди открытий выставки, а среди скандалов. Я представил возвращение в мастерскую, Ахилла у шкафа, долговую книгу торговца, шёпот в кафе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.